

ИВО ПОСПИШИЛ

Университет Масарика
(Брно, Чешская Республика)

ORCID: 0000-0001-8358-0765
e-mail: Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

**ЮБИЛЕЙНОЕ, или разговор
о сущностях современного литературоведения и не только**

**THE JUBILEE, a Talk about the Essence
of Contemporary Literature Studies and Beyond**

Abstract

The present interview created by Roman Mnich, a Polish slavist, and literary scholar of international reputation, and Ivo Pospíšil, a Czech slavist, and comparatist, contains several thematic spheres concerning the evolution of a researcher, his biographical data and important life events mostly related to philology, literary criticism, and their conceptions as well as individual understanding including the educational process in secondary schools and universities, both in the past and in the present with a concise future prospect. The slavist mentions his interest in immanent methods, Russian formalists, and Czech structuralists, and critically comments upon contemporary condition of literary scholarship, Slavonic Studies in general, and his favourite books.

Keywords: life in/with literary criticism, university education, methodology of literary criticism, favourite books

„После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ“.

(Владимир Маяковский, *Юбилейное*)

РМ: Дорогой Иво, прежде всего, конечно, слова благодарности за то, что Ты согласился на разговор и нашёл для него время. Я надеюсь оформить этот диалог в цельный текст, посвященный не только заявленным в заглавии *сущностям* нынешнего литературоведения, но другим, интересным для филологов и вообще – для гуманитариев, проблемам. Я сознательно озаглавил наш разговор аллюзией на стихотворение Владимира Маяковского, из которого взял эпитафию только потому, что упоминаемые в нем буквы совпадали с первыми буквами наших с Тобой фамилий. Понятно, что это только постмодернистская игра значений, без какого-либо намека на идейные смыслы стихотворения Владимира Маяковского, и уж тем более – без намека на апокалиптические аспекты (хотя время сейчас весьма и весьма *осевое* и эсхатологическое). Текст Вл. Маяковского апеллирует к вечности, ради которой стоит „потерять часок-другой“, чтобы жизнь „встала в другом разрезе“ и „большое понималось через ерунду“, но самое важное – он заканчивается призывом „обожания жизни“, в свете которого никакое „после смерти“ уже не страшно. После такого объяснения мой первый вопрос – как Ты сам воспринимаешь этот свой жизненный рубеж?

ИП: Теперь любят говорить, что возраст – это только цифра, но это не так. Другие говорят, что человек меняется каждые семь лет и это, наверное, магическое число, но, кажется, приблизительно соответствует истине. В течение сравнительно короткого времени человек резко меняется, „падает“, дегенерирует, теряет как будто бы паразитически внезапно некоторые свои способности. Все это реже видно в работах ученых, но чаще у медиально известных людей, поп-звезд, модераторов, у которых в СМИ свои собственные программы на годы: тут дегенерация, упадок, обусловленный возрастом, очевидны. После моих 27 лет во главе брненской славистики и 47 лет работы в универ-

ситете все дальнейшее зависит от состояния здоровья, интеллектуальных способностей и, главным образом, от общей обстановки и условий в славистике, на факультете и в университете. Все ведь теперь везде сложно, как никогда раньше в близком прошлом: пандемия и другие инфекционные болезни, наступающие, главным образом, именно пожилых, старых, дальше – глубокие экономические кризисы, прежде всего энергетический и продовольственный, угрожающие всемирной катастрофой, ужасная инфляция, локальные войны, вездесущий страх. Но все-таки этот жизненный рубеж я считаю возможностью суммировать, резюмировать, подводить итоги, результаты работы, возможностью завершить определенные темы, не избегая и новых открытий, изобретений, если так можно выразиться. Может быть, случится, что и в этом возрасте можно прийти к релевантным выводам, но все это в руках божьих.

Однако упадок сил, усталость и смерть неизбежны. Когда я бродил по городским улицам в течение двух лет пандемии, я часто видел дряхлую старушку, полуслепую, одинокую, и смотрел, как она идет ощупью, постукивая сумочкой об углы домов; примерно по той же самой траектории идет каждый из нас, и дорога старушки – это грустный, трагический символ человеческого пути. В этом смысле ни философия, ни искусство нам не помогут, не принесут утешения, хотя человеческие „реакции“ на безысходность смерти и судьбы, будто бы наперекор сказанному, находятся издревле во многих текстах, например, в *Библии*; утешительные жанры, жалобы, упрямство и тотальный скептицизм, как, например, в *Книге Иова* или *Экклезиаста*, и темы сумасшествия (литература инсаний) и самоубийства (суицидальная литература). Остается литература и её теоретическая рефлексия как, пожалуй, единственный способ жизненного уравновешивания.

РМ: После такого, немного пессимистического вступления, обратимся к твоему опыту, жизненному и научному, в связи с чем, первый мой вопрос: почему Ты как студент выбрал филологию (русскую и английскую)?

ИП: Заранее извиняясь, я начну, так сказать, издали. Я учился в средней школе в западной Моравии, примерно 60 километров в северо-западном направлении от Брно, где я потом с 70-х годов прошлого века жил и живу. Наша система обучения подвергалась перма-

нентным реформам со времён Австро-Венгрии: мой дедушка посещал институцию, называемую по-чешски в сокращении „reálka“ (ориентация на точные и естественные науки); он мне не раз говорил, что в старости ему снились ужасные сны, но не о боях на фронтах где-то в Галиции в годы Первой мировой войны, в которой он как австрийский солдат и позже чехословацкий легионер принимал участие, а о проверке уроков по начертательной геометрии. Мои родители стали выпускниками так называемой реальной гимназии и частично реальной реформированной гимназии (речь шла о соотношении живых и мёртвых языков), после 1945 года были четырехлетние гимназии, которые заменили семилетние или восьмилетние. Потом мы перешли на советскую систему десятилеток, позже в начале 60-х годов на смену советской школе пришла всеобщая образовательная средняя школа, которая существовала лишь три года – и я, выпускник именно такой школы, могу, наблюдая современное образование и его уровень, сказать: это была очень хорошая школа, так как причина состоит не столько в системе, сколько в людях, как всегда. В 1968 году стали возникать восьмилетние гимназии рядом с четырехлетними, после подавления Пражской весны восьмилетние были отменены, но четырехлетние остались. Такие вещи потом повторялись и в вузах, то есть разного рода переименования университетов, так что я, например, выпускник Брненского университета им. Я.Э.Пуркине (видный чешский естествовед и полиглот, который работал и в Пруссии, в университете нынешнего польского города Вроцлава; как известно, этот город был основан чешским королём Вратиславом и как составная часть Земель Короны чешской назывался Вратислав), теперь так называется университет в северно-чешском городе Усти-над-Лабем (по-немецки Aussig). В 1990 году Брненскому университету вернули имя первого чехословацкого президента Масарика. Жизнь зачастую в такой абсурдной и гротескной среде вызывала, естественно, интерес к вымыслу, фикации, фантазии, беллетристике. В средней школе я встретил настоящих знаменитостей, в том числе видного сюрреалистического поэта и всемирно известного, прославленного художника, изобретателя новых форм искусства, всеми обожаемого экспериментатора Ладислава Новака (1925-1999), который преподавал чешский, историю и латинский; повлиял на меня и преподаватель химии (я хотел сначала заняться в вузе именно химией), человек широких горизонтов, у которого я брал книги по философии, интересный был

и учитель биологии. У каждого были, разумеется, слабые и сильные стороны. Филологи были скорее практиками, чем теоретиками, мыслителями и учеными, но (кроме химии) мне стало вскоре ясно, что я буду заниматься языками, литературами, а именно чешским и английским, хотя у меня – кроме русского – был первым иностранным немецкий, кроме мертвого – латинского. Это было время конца 60-х годов прошлого века, связанное у нас с событиями 1968 года и я, будучи шестнадцатилетним, очень занялся политикой и участвовал в конкретных действиях, но об этом я не буду распространяться, хотя все это сильно формировало меня; но это материал скорее для обширных воспоминаний... После вторжения армий пяти государств Варшавского договора 21 августа, никто не хотел заниматься русским языком, но это вскоре кончилось. Один преподаватель сказал нам, реагируя на наше отвращение к русскому, так: мы не будем бросать грабли, потому что поссорились с садоводом. Наше чешское отношение к русскому, России и русским имеет, однако, свою историю и нельзя сравнивать несравнимое, то есть конец 60-х годов прошлого века с современностью. Специальность чешский язык в комбинации с английским – именно это я выбрал – в 1970 году не открывали, и я был, таким образом, буквально принуждён, не желая терять английский, выбрать русский и английский. Некоторые иронически говорили, что эта комбинация охватывает весь мир и содержит внутренний конфликт – языки супердержав. Русский я стал интенсивно изучать, чтобы сдать вступительный экзамен, это было трудно и я обязан своей маме, между прочим, учительнице русского (она скончалась в 2018 году в возрасте 90 лет), которая со мной самоотверженно занималась. Чешский я стал изучать лишь в 80-е годы и закончил в 1990 году работой на чешско-словацкую тему, так что у меня тройная комбинация английского, русского и чешского. Причина интереса к филологии, следовательно, коренится еще в моих преподавателях средней школы.

РМ: В связи со сказанным Тобой, как отличалась твоя учеба от сегодняшней ситуации в университетах?

ИП: Учеба в Брненском университете в 70-е годы XX века была до определенной степени автономной, хотя на нее и влияли внешние обстоятельства, но для нас, студентов, влияние это было периферийным, хотя время было с политической точки зрения трудное, но, го-

воря словами Булата Окуджавы, „у каждой эпохи свои подрастают леса...“, почти всем пришлось делать разные уступки. Благодаря заслугам политически сильных, но, на самом деле, либеральных людей, именно философский факультет нашего университета сохранил свой солидный, серьезный характер, что несравнимо с некоторыми другими факультетами того же университета или, например, с Прагой.

Главнейшая проблема современных университетов и науки как таковой в университетах и в академиях наук – это разделение власти. Роль бывших творцов, создателей, инициаторов и тех, кто руководит – академиков, профессоров, сегодня редуцирована до неузнаваемости. В годы первой Чехословацкой Республики в университетах были, как в каждом демократическом государстве три столбы правления на уровне политики; в государстве – это власть исполнительная, законодательная и судебная, а в университетах – руководство, возглавляемое деканом, академический сенат и собрание профессоров, независимое как от выборов, так и от руководства. Я был убежден, что после 1989 года это к нам вернется с Запада, но позже увидел, что и там эта система разлагается, подражая нашей до этого времени доминирующей дирижерской системе. В собрании профессоров обсуждалось качество и ориентация научной работы. В настоящее время все в руках чиновников (так называемых менеджеров, о революции которых мы могли читать еще в 50-60-е годы прошлого века), которые, может быть, способны что-то организовать, у них есть даже научная квалификация, но нет настоящего опыта системной научной работы. Власть в науке реализуется посредством разных, всегда „безошибочных“ комиссий, так называемых экспертов, сети бесконечных эвалюаций и аккредитаций, кредитных систем и так далее, причем критерии расплывчаты, почти всё анонимно (будто бы из-за мнимой объективности), так что никто не знает, кто оценивает и, главное, кто они, эти оценщики. То, что такое отчуждение изображено в литературных дистопиях XX века, бросается в глаза... Так что тенденция к объективности парадоксально приводит к высокой степени субъективности; далее об этом не буду распространяться. Почти то же самое касается и так называемых престижных датабаз или журналов и издательств. Таким образом, научная работа, эта зачастую мучительная деятельность, возникающая и ночью, на прогулке, при самых разных обстоятельствах, интуитивно, буквально 24 часа в сутки, механически нормируется и, главным образом, централизуется;

и у науки свои господа и вновь говорят о едином потоке научной работы. Это нам хорошо известно из прошлого.

В отличие от всегда остро политически ориентированных филологов в чешской столице – и эта традиция продолжается – филология у нас была ориентирована в более или менее скрытом виде на традицию автономных, имманентных методов русской формальной школы, Пражского кружка, структурализма, частично и феноменологии, ведь её основатель Эдмунд Гуссерль родился в Моравии в городе Proßnitz, по-чешски Простейов; именно в Моравии родилось ещё несколько знаменитостей – Зигмунд Фрейд/Freud, Эрнст Мах (кто не помнит рассерженную ленинскую полемику в *Материализме и эмпириокритицизме*), математик всемирной известности Курт Гёдель / Gödel... Отсюда вытекает и моя изначальная методологическая ориентация на изучение жанров и направлений, форм, исторической и теоретической поэтики.

РМ: Ты вспомнил нашумевшую в своё время книгу Ленина. В связи с чем я хотел бы спросить о сегодняшнем отношении к марксизму, не только твоём личном, но вообще – европейском?

ИП: Марксизм в классической и более современной форме преподаётся – в отличие от наших университетов (за исключением некоторых преподавателей) – в американских и западноевропейских университетах как составная часть философии и политической экономии, но есть и неомарксисты, так что следы этого учения можно найти в XX веке во Франкфуртской школе, в интернациональных доктринах, связанных с применением некоторых тезисов Маркса и его последователей, включая Троцкого и Ленина, менее ревизионистов, как, например, Эдуард Бернштейн, в названиях должностей и решениях разных сверх-национальных органов, восходящих к Французской революции и Парижской коммуне. И, таким образом, признаётся важность марксизма и его вариантов, что, наверное, поражало бы всех, кто видел после 1989 года на улицах городов и сёл собрания сочинений классиков марксизма, тогда решали, сжечь ли их или сдать в макулатуру. Меня всегда удивляло, что наши современные политологи в своём большинстве игнорировали и классический этап марксизма, и это были зачастую люди, играющие ведущие роли в практической высокой политике. Если компетентно критиковать и отрицать, то необходимо знать и анализировать. Меня интересовал скорее классический

марксизм XIX века, всё, связанное в XX веке с его прикладными этапами, приведшими к катастрофам, геноциду и человеческим трагедиям, разумеется, меньше, но я читал об этом – как дитя 60-х годов XX века – сравнительно много.

Что касается литературоведения, это у нас был скорее какой-то обязательный, одновременно и охранительный идеологический штамп; у нас был под сомнением как слишком туманный и сам термин „марксистское литературоведение“, так как этот метод остался, на мой взгляд, конкретно неразработанным. По-моему, здесь возникает, как почти всегда у объемных учений, разрыв между теорией и практикой, между общими тезисами и конкретным применением. Как будет выглядеть настоящий марксистский анализ художественного текста, если пропустить общие фразы и констатации? Раньше марксизм отождествляли с социологией литературы, позже искали слишком универсальные, комплексные, точнее эклектичные, подходы. Но, может быть, я ошибаюсь.

РМ: Что Тебе запомнилось больше всего из студенческих лет? Кого считаешь своими учителями и почему?

ИП: Прежде всего требовательность, однако и снисходительность, дисциплина, сравнительная свобода научных взглядов, вытекающая из взаимного доверия преподавателей и студентов, глубокий интерес, трудолюбие, с одной стороны, и студенческие развлечения, иногда и немного богемный образ жизни, с другой. Благодаря социальным стипендиям и, главным образом, стипендиям по успеваемости, а также возможности частных уроков, так как языки были в моде, у меня была возможность жить с небольшой родительской поддержкой спокойно, солидно. То, что запомнилось, именно по сравнению с современным состоянием, это прочные взаимоотношения учителя и ученика, связь поколений, разумеется, и с естественными, на самом деле, плодотворными конфликтами, и вообще более высокий уровень образованности студентов, их знаний и общих представлений. Хотя и мы как студенты видели на факультете разный уровень преподавателей, их способностей и настоящей глубины их знаний, но мы вели себя скромно, сдержанно, учтиво, так как нашей целью было как можно больше узнать, овладеть знаниями и способностями, не властью над людьми, и этому можно было учиться у всех, то есть до определенной степени и у менее одаренных и менее образованных преподавателей.

давателей и ученых. По сравнению с моим студенческим прошлым сейчас очевидна потеря уважения к ремеслу, то есть к конкретным умениям, приемам в науке и к традиции. Сравнительно часто я встречаюсь с тем, что студенты не знают почти ничего об истории своей специальности, о предтечах своих преподавателей, о знаменитых ученых факультета – это досадно. И, сверх того, любовь к „легким“ темам, в границах которых можно болтать, суммировать, демонстрировать статистики, прибегать к журналистским подходам, модно и поверхностно политизировать по преобладающему течению общественной мысли, просто тяготеть к механическим знаниям. Если говорить о лингвистике, то явно тяготение к периферийным дисциплинам и темам, в которых лишь слабо проглядывает настоящее мышление о языке; например, мало кто занимается синтаксисом, по-моему, вечным ядром лингвистики. В рамках литературоведения то же самое в случае поэтики, сравнительного литературоведения, которое занимается скорее культуроведением, культурной антропологией и ареальными исследованиями (но, зачастую, лишь поверхностно, описательно, статистически), рецепцией одной литературы в границах другой, а не тем, как строится артефакт, глубинными вопросами, которые свойственны именно литературоведению как науке. Признак нашей эпохи – утрата преемственности, континуитета, многословие, фразерство, бесконечные повторения разного рода штампов. Как сторонник имманентных методов, я мог бы радоваться, но меня скорее тревожит то, что студенты получают зачастую пофидерные знания о том, как преподавать, но не что преподавать.

Мои учителя или скорее учителя науки: в Брно лингвисты-русисты Роман Мразек и Станислав Жажа, литературовед, русист и романист Ярослав Мандат, англисты-литературоведы Лидмила Пантучкова, автор уникальной, кажется, до сих пор не превзойдённой английской монографии о Теккере как литературном критике (у неё я писал итоговую работу о Байроне и Лермонтове), Алеш Тихи, специалист по роману XVIII века. У каждого был свой подход и приемы, не все были блестящими педагогами, но все были настоящими знатоками литературоведческого ремесла, умели читать литературу, вдохновляясь скорее формальными методами. В переносном значении к ним относились и богемист-литературовед, в годы первой Чехословацкой Республики молодой член Пражского лингвистического кружка, медиевист, поэтолог, стиховед Йосеф Грабак, и Зденек Мат-

хаузер, русист, знаток русского авангарда, философ-феноменолог не легкой судьбы, реформатор 60-х годов прошлого века, из словаков – Диониз Дюришин, известный компаративист, я был членом его исследовательского коллектива, русист и антрополог литературы Андрей Червеняк, оба русины по происхождению, Франтишек Каутман, прозаик, поэт, литературный критик и теоретик, член лондонского Общества Достоевского. Первое Общество Достоевского основал, как известно, Альфред Бем в Праге, Каутман возобновил его деятельность в 90-е годы XX века совместно с двумя молодыми исследовательницами – Милушой Бубениковой и Радкой Гржибковой; Каутман – кандидат наук Московского университета периода оттепели, знаток русского литературоведения, со-организатор прославленной международной конференции о Кафке 1963 года; некоторые стали со временем моими друзьями, с которыми я регулярно встречался.

РМ: С каких пор Ты начал писать стихи? Не хотел ли стать поэтом и писателем в профессиональном смысле?

ИП: Я стал писать стихи, как и большинство молодых мужчин, в годы юности, в пубертальный период, и перестал со времен пребывания в вузе; таланта явно не было. Я встречался с некоторыми писателями, в том числе и поэтами, об одном даже написал маленькую монографию, они советовали продолжать, кажется, по вежливости, но у меня не было охоты. Только по случаю издания межпоколенческого сборника в 2019 году, который я инициировал и отредактировал, я в виде исключения написал пару стихотворений, но, по-моему, заурядных, скорее неудачных. Когда в 90-е годы XX века возник чешский академический словарь писателей после 1945 года, статью обо мне написал мой друг и сверстник, богемист и англист, к сожалению, уже скончавшийся, Благодислав Докоупил, автор книг и статей об историческом романе. Так и вышло в печати. После его кончины редакторы обратились ко мне, чтобы статью проверить и дополнить, но я отказался и сообщил, что я не писатель в настоящем значении, я лишь литературовед и критик. Беглый взгляд на словари писателей или, например, философов свидетельствует о неправильном понимании границ разных деятельностей.

РМ: Что Ты можешь сказать о своих первых научных интересах и первых публикациях?

ИП: Если приводить научные, то есть филологические или даже литературоведческие интересы, то это связано с моей ювенильной компаративистикой, по моим дисциплинам на базе русско-американской; я даже выиграл чехословацкий студенческий конкурс в своей категории и получил диплом, подписанный тогдашним министром образования, президентом академии наук (тема: Купер и Россия, Тургенев и Америка). Позже меня заинтересовали литературные аутсайдеры, то есть исключительные, в стороне стоящие авторы, и маргинальные жанры, в том числе хроники и романические хроники. На одной Брненской конференции (если я хорошо помню, в 1988 году), в которой участвовал и известный учёный Юрий Владимирович Манн (1929-2022), я прочитал доклад о двух аутсайдерах русской литературы – Фаддее Булгарине и Николае Лескове, взаимно связанных методами работы. Манн оценил доклад положительно. Там я с ним лично познакомился и мы разговаривали на разные темы – гласность и перестройка были в полном разгаре. Первая моя научная публикация появилась лишь в 1983 году – *Русский роман-хроника*. Издавать книги было тогда нелегко. И у этой книги была своя история. Она была основана на кандидатской диссертации, которая была защищена с трудом. Всегда вокруг моих работ и деятельности было много шума, и это продолжалось долгое время: непрестанное давление и унижение; но были друзья и покровители, иначе нельзя было бы пережить – вот такова судьба. Во главе Пражской государственной комиссии стояла жена высокостоящего функционера центрального политического органа, но это, однако, скорее история для мемуаров. Меня упрекали в использовании чужих терминов, чужой методологии, обвиняли в том, что я импортирую из СССР вредный структурализм, и так далее. Совещание комиссии длилось 4 часа; все время я сидел в коридоре с женой, которая пришла, думая, что это уже конец. Я был позже хорошо информирован обо всем и о заслуге нашего замдекана, женщины, видного специалиста мировой известности по фонологии и детской речи, которую высоко оценивал и Роман Якобсон. Обложку книги обещал сделать мой друг, известный художник, с мотивом православной церкви, но это запретили под предлогом, что он не член официального союза художников. Книга наконец-то вышла с каким-то неразборчивым фаллическим символом. Художник рассердился, что я книгу издал без его проекта обложки, так что у меня вдруг возникли неприятности с обеих сторон.

РМ: Какую свою книгу Ты считаешь самой важной?

ИП: Это, главным образом, две книги: *Лабиринт хроники* (1986), особое продолжение хроникальной темы, и *Русский роман, снова посещенный* (2005). Это что касается разного рода открытий. Но из концептуальной и методологической точек зрения наиболее важные – *Жанрология и модификации литературы* (1998), *Славистика на перекрестке* (2003) и *Славистика как чешское фамильное серебро* (2004). Все они написаны на чешском языке, может быть, ещё две книги о Центральной Европе, одна по-чешски и одна по-английски и коллективные лексикографические работы и, пожалуй, отредактированные отдельные серии изданий (ареальные исследования, история славистики, словакистика и чешско-словацкие связи), две книги исследований о русской литературе, теории, методологии и Центральной Европе, изданные по Твоей заслуге по-русски в Седльце; может быть, и *Словакистские рефлексии* (2017), *Русская литература: встречи и конфронтации* и *Литература и ее трансценденции* (обе 2020, на разных языках – чешском, словацком, русском, английском). Кажется, я назвал слишком много, но надо учитывать, что их совместно свыше сорока.

РМ: Что Ты не успел или не смог написать, то есть о чем сейчас жалеешь??

ИП: Много внимания и времени я уделял организации славистов и концепции международной и чешской славистики, был и председателем Чешского комитета славистов (1998-2003), что не нравилось чешским/пражским консерваторам, любящим власть – все это я уже описал в своих книгах и брошюрах и трудно верить, что такие обстоятельства и межчеловеческие отношения могут существовать в академической среде. С этой точки зрения мой личный опыт предвосхитил то, что теперь нормально, но раньше было немислимо: непримиримая зависть и ненависть, даже в международных научных кругах. Теперь мне этого жаль, так как то, что было сформировано на конгрессе в Кракове в 1998 году, под давлением консерваторов из разных стран рухнуло, и всё вернулось еще на более низком уровне к старым порядкам – везде. Я также разочаровался в смысле коллективных научных организаций, в конгрессах, в которых я принимал регулярное участие, лучше не буду приводить их названия.

Есть у каждого в голове разные проекты, как сейчас любят говорить, точнее говоря, планы на будущее; среди них самым важным мне представляется история литературы, так как именно она была в XX веке до определенной степени игнорирована, за исключением последних 20-30 лет. Например, история мировой/всемирной литературы, истории отдельных национальных литератур, история литературных ареалов, у нас, например, Центральной Европы, Балкан, Восточной Европы, разумеется, в том числе, славянских литератур, русской литературы, но с индивидуальным, а не коллективным авторством, чтобы в ней была особая методологическая сплочённость и „философия“, оригинальная концепция и отпечаток национального опыта, то есть, например, чешская история русской литературы.

РМ: Какие литературоведческие книги русских авторов Ты считаешь самыми важными для XX века и почему?

ИП: Я скорее сторонник плюралистического видения литературы, разнообразия методов, гетерогенности литературоведения, однако не методологического эклектизма, хотя прекрасно понимаю неизбежность определенной методологической дисциплины в рамках одной школы, одной доктрины и учения. Как известно, лидеры разных школ иногда принуждали членов этих школ соблюдать так называемую верность методу. Это очевидно, например, в связи с Пражским кружком, так как Роман Якобсон исходил понемножку из русского понимания кружков как почти политических объединений. Подобные слова я слышал о себе и от Диониза Дюришина: членом его исследовательского коллектива я состоял с начала 90-х годов XX века вплоть до его смерти в 1997 году. Из Романа Якобсона я привожу – немного атипично – его маленькую работу о статуе в творчестве Пушкина (первоначально на чешском языке: *Socha v symbolice Puškinově*, 1937, опубликованную в журнале чешских структуралистов „Slovo a slovesnost“). Одно маленькое воспоминание, если не ошибаюсь 1973 года. В Брно стажировался тогда молодой американский славист Джон Бербенк (John Burbank), который готовил перевод этой чешской статьи на английский. С ним я, будучи еще студентом, встречался и разговаривали на разные темы. Позже перевод был опубликован под названием *Pushkin and His Scultural Myth* (Mouton, The Hague, 1975). Бербенк рядом с Петром Стейнером (чех Петр Штайнер, теперь professor emeritus, University of Pennsylvania, в последние десятилетия частый гость

в Чехии) систематически переводили работы чешских структуралистов, в особенности Яна Мукаржовского. В чешской среде русские литературоведы сыграли ключевую роль (в далёком прошлом – Александр Веселовский, учитель словенца Матия Мурко, пражского учителя Франка Воллмана, основателя Брненской литературоведческой славистики). Они принадлежали к разным методам – сам Роман Якобсон, Евгений Ляцкий, Альфред Бем, Владимир Францев, раньше профессор Варшавского университета, Сергей Вилинский. Однако кроме Пражского лингвистического кружка, основанного совместно Якобсоном и чешским англистом Вилемом Матезиусом, здесь было и Историко-литературное общество, исходящее из более традиционных подходов, позитивизма, психологизма, „духоведения“. К нему близко стояли, например, Войтех Йират, Карел Крейчи, Арне Новак, Ян Войтех Седлак, Вацлав Черны и другие. Его продолжателем сейчас является Литературоведческое общество Чешской Республики, которое я примерно 10 лет (до 2018 года) возглавлял. Оно действовало интенсивно именно в межвоенный период, но и позже, когда его председателем был сын Франка Воллмана, славист и компаративист Славомир Воллман, а секретарём Милош Зеленка, мой постоянный сотрудник и друг. Мой выбор, следовательно, разнообразный, скорее противоречивый; кроме корифеев, то есть известного „троезвездия“ – Михал Бахтин, Дмитрий Лихачёв и Юрий Лотман – это, на самом деле, русские формалисты на всех этапах их развития, историки литературы, ученые. Если привести конкретные названия, то среди них, например, *Проблемы творчества Достоевского* (1929) М.Бахтина, труды феноменолога Густава Шпета (кроме общих трактатов, как, например, *Феноменология как основная наука и ее проблемы*, 1914, или *Герменевтика и ее проблемы*, 1918 – это *Философское мировоззрение Герцена*, 1921; многие работы появились в его современном *Собрании сочинений*; *Поэтика древнерусской литературы* (1967) Д.Лихачёва, классические *Лекции по структуральной поэтике* (1964) Ю.Лотмана, работы Михаила П. Алексева, в том числе, кроме книги о Пушкине (1972), его ранние исследования, например, о Марлинском, о Дефо и Сибири, об Иване Шидловском (Одесса 1921), по происхождению поляке (Szydłowski), как раннем друге Достоевского и так далее. И, главным образом, Дмитрий Чижевский, которого я открывал постепенно, в последнее время посредством Твоей фундаментальной, блестящей книги. Я мог бы еще привести работы Виктора Шклов-

ского, Бориса Эйхенбаума, Романа Якобсона и других, но я, намеренно, предпочитаю, в этом случае, скорее полузабытые, маргинальные работы, которые сыграли свою роль в подспудном познании литературного артефакта и его более широкого фона.

РМ: А какие литературоведческие исследования европейских авторов XX века были самыми важными??

ИП: Европа именно в XX веке „экспандировала“, трансцендировала в другие континенты свои достижения, главным образом в Америку, в особенности в США, тем более, что она сама лишь культурный полуостров Азии. Трудно абстрагироваться от таких американских европейцев, какими были, например, Роман Якобсон, Дмитрий Чижевский, Рене Уэллек. На всякий случай укажу: Ernst Robert Curtius: *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter* (1948); Jan Mukařovský: *Kapitoly z české poetiky* (1948); Roland Barthes: *Le Degré zéro de l'écriture* (1953); Julia Kristeva: *Le Texte du roman* (1970); Tzvetan Todorov: *Poétique de la prose* (1971); Hans Robert Jauss: *Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft* (1967); Galin Tihanov: *The Master and the Slave. Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their Time* (2000). Я привёл лишь несколько примеров книг, которые я считаю важными, но это вообще не значит, что я согласен с результатами и взглядами их авторов. В последнее время я вижу настойчивое тяготение некоторых литературоведов определённого поколения к медийной популяризации во что бы то ни стало: тот, кто только пишет тексты – это мёртвый человек, сама литература будто бы не может существовать без визуализации. Это в порядке, литература и литературоведение, таким образом, вновь приобретают свои общественные позиции, но, с другой стороны, это приводит к упрощениям, а нередко и к смысловой деформации настоящего состояния литературы и ее читательского восприятия. Медиализация литературы – да, но не за счет ее глубинного изложения. Именно в связи с интерпретацией культурных и литературных продуктов так называемой Восточной Европы литературоведение приходит к упрощениям и одностороннему видению, которое на так называемом Западе воспринимается как реальность. Несносна, главным образом, некая родительская снисходительность по отношению к Восточной Европе, под которой подразумевается скорее Центральная Европа. По этим холодно-военным представлениям Прага лежит на Востоке, а Хельсинки на Западе.

РМ: Аналогичный вопрос о чешских литературоведах XX века.

ИП: Как я уже упомянул, и чешские, и русские, и польские и другие „восточные“ литературоведы представляют собой в некоторых случаях европейскую и мировую вершину. Почему это так? Я убежден, что это частично связано с характером славянских литератур, с их странной траекторией развития, которую я называю *пре-пост эффект*. Именно аномальная эволюция этих литератур как материала литературоведения – теории и истории – провоцирует поиски новых путей, ведет к открытию новых окон в разные стороны, к побочным результатам, к новому видению артефакта. Сам Якобсон в своем последнем выступлении на территории бывшей Чехословакии в рамках пражского Константиновского симпозиума в 1969 году провозгласил, что он чувствует себя чехом; поэтому я могу приводить и его работы. То же самое касается и Рене Уэллека, наполовину чеха, о его чехословацком периоде мы с М.Зеленкой написали и издали в Университете Масарика в 1996 году отдельную книгу (*Рене Уэллек и межвоенная Чехословакия. К источникам структуральной эстетики*). Но из, так сказать, автохтонных чешских литературоведов и их произведений, можно привести следующие имена: слависты и компаративисты, отец и сын, Франк Воллман/Frank Wollman и Славомир Воллман / Slavomír Wollman, романист, богемист, компаративист и литературный критик Вацлав Черны/Václav Černý, славист, компаративист, полонист Карел Крейчи/Karel Krejčí, Йосеф Грабак/Josef Hrabák и почти все его работы, в особенности о древнечешской литературе, его чешскую *Поэтику*, книги и статьи по стиховедению (его ювенильное сравнение чешского и польского стиха и анализ чешской готической поэзии XIV века, именно школы Смилы Флашки из Пардубице, изданные в серии работ Пражского лингвистического кружка), Войтех Ёират/Vojtěch Jirát, представитель чешского „духоведения“. Многие из чешского литературоведения второй половины XX и первой трети XXI веков – в отличие от словацкого – неоригинально, поверхностно, подражает модным веяниям. Исключения представляют Владимир Мацура /Vladimír Macura (работы *Примета рождения/Znamení zrodu* о чешском национальном возрождении XIX века, а также семиотические работы) и Даниела Годрова/Daniela Hodrová (*Поиски романа / Hledání románu, Инициационный роман/Román zasněsení*), оба они также и беллетристы; можно привести и других, но их было бы сравнительно мало.

РМ: Какие десять книг по литературоведению авторов XX века должен обязательно прочитать сегодняшний студент и почему?

ИП: Проблема состоит в том, что я восхищаюсь, когда современные студенты читают беллетристику. Мы раньше читали сотни художественных текстов, сегодняшние студенты – десятки или еще меньше. Выбор литературоведческих текстов ограничен темами семинарных и дипломных работ, исключение составляют несколько одарённых студентов, но я могу ошибаться. Хотя наш мир выглядит хаотичным, аморфным, диким (как мне недавно написал один коллега), что напоминает французское „sauvage“ (или производное английское „savage“), которое, наверное, имел ввиду Пушкин, когда писал о неуважении к предкам, которое является признаком безнравственности и дикости, за всем этим просвечивают очертания нового мира и, в особенности, нового человека. Сомнительно, что в таком мире все эти обязательные чтения, каноны, мировые литературы и прочее найдут свое место. И связанные с ними эстетические ценности будут существовать, скорее пропадут; от них останутся лишь осколки, как из бывших пышных городов тотально забытых древних цивилизаций, разброшенных, например, в девственных лесах Амазонии. Нельзя остановить поток изменений, все, на самом деле, приветствуют это движение и тяготение, несмотря на потери – так было всегда и так будет и сейчас.

Такой список сравнительно легко составить, но он всегда будет неполным и крайне субъективным, учитывая сказанное раньше. С одной стороны, речь идет о доступных, в большинстве своём по-чешски написанных книгах, с другой, о репрезентативных книгах мирового литературоведения. Так что я решил составить два списка: оба представляют собой сейчас что-то вроде – в отличие от прошлого – максималистских требований. Совсем другой аспект, если речь идёт об общем литературоведении или о славистическом литературоведении. Что касается обоснования выбора: в первом списке речь идет о методологической репрезентативности отдельных публикаций, во втором обоснование приводится для каждой книги отдельно. Названия книг я привожу в оригинале:

- 1) Виктор Шкловский: *Теория литературы*
- 2) Михаил Бахтин: *Проблемы творчества Достоевского / Проблемы поэтики Достоевского*

- 3) Roman Ingarden: *Das literarische Kunstwerk*.
- 4) Дмитрий Чижевский: *Europa und Rußland*
- 5) René Wellek, Austin Warren: *Theory of Literature*
- 6) Galin Tihanov: *The Master and the Slave: Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their Time*.
- 7) Hans Robert Jauss: *Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft*.
- 8) Paul de Man: *Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism*
- 9) Jacques Derrida: *De la grammatologie*.
- 10) Stefania Skwarczyńska: *Wstęp do nauki o literaturze I.-III.*

Второй список:

- 1) Vojtěch Jirát: антология *Duch a tvar/Дух и форма*
Пример чешского литературоведческого духоведения (Geisteswissenschaft), новый взгляд на поэтику чешской литературы и развитие литературных направлений;
- 2) Václav Černý: *Esej o básnickém baroku//Эссе о поэтическом барокко, Essai sur le titanisme/Эссе о титанизме*
Заново открытый феномен чешского барокко, его реабилитация; работа по европейскому романтизму в рамках биографического и психологического методов;
- 3) Arne Novák: *Literatura českého klasicismu obrozenského / Литература чешского классицизма периода национального возрождения*
Новооткрытие классицизма в чешской литературе, пример историко-литературного труда с применением позитивистского и психологического методов;
- 4) Frank Wollman: *Slovesnost Slovanů/Литература славян*
Уникальное произведение с 1928 года, заново опубликованное в 2012 году и раньше в немецком переводе; комплексная, идеографическая и морфологическая (эйдологическая), структурная картина развития славянских литератур по отдельным культурным эпохам; тогда, к концу 20-х годов XX века, настоящее новое слово в сравнительной литературоведческой славистике;
- 5) Jan Mukařovský: *Kapitoly z české poetiky/Главы по чешской поэтике*
Классическая книга чешского структурализма, собрание ключевых статей его корифея, принципы структурного подхода на материале чешской литературы;

- 6) Karel Krejčí: *Česká literatura a kulturní proudy evropské / Чешская литература и европейские культурные течения*
Оригинальная сравнительная работа, демонстрирующая чешскую литературу в европейском контексте;
- 7) Josef Hrabák: *Smilova škola/Школа Смилы*
Стиховедческая работа о чешской средневековой литературе, когда (в XIV веке) чешская литература стояла на европейской вершине;
- 8) Vladimír Macura: *Znamení zrodu/Примета рождения*
Опыт семиотического анализа чешского национального возрождения, своего рода демифологизация этого феномена;
- 9) Daniela Hodrová: *Román zasvěcení/Инициационный роман*
Работа чешского литературоведа и беллетриста о романе инициации, продолжающая ее *Поиски романа*;
- 10) Pavel Jiráček: *Od slov k lyrickému vědomí / От слов к лирическому сознанию*
Посмертное издание последней работы талантливого чешского стиховеда, в котором творчески изложен новый подход к сущности лирического восприятия.